

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

Губернатор

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=255772
Оригинальный человек и другие рассказы: АСТ; М.; 2010
ISBN 978-5-17-063014-1*

Аннотация

Леонид Андреев (1871–1919) – один из величайших русских писателей Серебряного века, создавший ряд в равной степени значительных произведений как в реалистической, так и в символической прозе. Рассказы Леонида Андреева, с их чеканным стилем и яркой, метафоричной образностью, тяготеют чаще всего к философской притче, посвященной «вечным» вопросам бытия, – и по сей день не утратили актуальности.

Леонид Андреев

ГУБЕРНАТОР

I

Уже пятнадцать дней прошло со времени события, а он все думал о нем – как будто само время потеряло силу над памятью и вещами или совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять – о самом чужом, о самом далеком, – уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль: подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полном солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего – и сразу станет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнёт на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной и оттого не особенно беспокойной, хотя и надоедливой; но вскоре случилось так, что все стало напоми-

нать событие – неожиданно, нелепо, и потому особенно больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит точно со стороны свой генеральский смех и вдруг возмутительно ясно увидит какого-нибудь убитого – хотя он тогда и не думал смеяться, да и никто не смеялся. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул, протянет ли руку к хлебу – все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален: рабочие с пригородного завода, уже три недели бастовавшие, всю свою массую в несколько тысяч человек, с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он, как губернатор, осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающе и дерзко: кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда свитские увели его на балкон, – он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее, – рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицеймейсте-

ра. Тогда он разгневался и махнул платком.

Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить, и убитых было много – сорок семь человек; из них девять женщин и трое детей, почему-то все девочки. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае третьей полицейской части. Конечно, не нужно было ездить; но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел, была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками, и казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему.

В длинном сарае было темно и прохладно, и убитые, под полосой серого брезента, лежали двумя правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке: вероятно, к приезду губернатора подготовились и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища, ноги, точно для счета, оставались на виду – неподвижные ноги, одни в стоптанных, рваных сапогах и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар. Дети и женщины были положены особо, в сторонке; и в этом опять-таки чувствовалось желание сделать как

можно более удобным обозрение трупов и их подсчет. И было тихо – слишком тихо для такого множества людей, и вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой перегородкой возился около лошади конюх; видимо, и он не подозревал, что за стеною есть кто-нибудь, кроме мертвых, потому что говорил лошади спокойно и сердечно:

– Тпруу, дьявол! Стой, когда говорят.

Губернатор взглянул на ряды ног, уходивших в темноту, и сдержанным басом, почти шепотом сказал:

– Однако много!

Из-за спины его выдвинулся помощник пристава, очень молодой, с безусым, угреватым лицом и, козыряя, громко доложил:

– Тридцать пять мужчин, девять женщин и трое детей, ваше превосходительство.

Губернатор сердито поморщился, и помощник пристава, козырнув, вновь пропал за его спиной. Ему еще хотелось, чтобы губернатор обратил внимание на дорожку между трупов, которая была тщательно прометена и слегка присыпана песком, но губернатор не заметил, хотя внимательно смотрел вниз.

– Детей трое?

– Трое, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?

Губернатор молчал.

– Тут есть разные лица, ваше превосходительство, – почтительно настаивал помощник пристава и, приняв молчание за согласие и внезапно перейдя на громкий шепот, распорядился: – Иванов, Сидорчук, живо, за тот конец, ну-ну!

С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц, бородатых и старых, молодых и безбородых, все разных, но объединенных между собою тем страшным сходством, какое придает смерть. Ран и крови почти не видно было, они остались где-то под одеждой, и только у одного глаз, выбитый пулей, неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь. Большинство смотрело совершенно одинаковым белым взглядом; некоторые жмурились, так же одинаково, и один закрывал рукою лицо, точно от сильного света; и помощник пристава страдальчески взглянул на этого мертвеца, нарушившего порядок. Губернатор знал наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе, в ближайших к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними, – но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что придала им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно-неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости, и

в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность; и так выжидающе-внимательны они были, что даже неловко было говорить в их присутствии. Если бы вдруг, сразу, окаменел город со всеми людьми, которые идут и едут, остановилось солнце, замерла листва и замерло все, – он, вероятно, имел бы такой же странный характер незавершенного стремления, внимательного ожидания и загадочной готовности к чему-то.

– Осмелюсь спросить, прикажете заказать гробы, ваше превосходительство, или же в братскую могилу? – громко, не догадываясь, спросил помощник пристава; важность события, переполох допускали, казалось ему, некоторую почтительную фамильярность. И он был молод.

– Какую братскую могилу? – невнимательно спросил губернатор.

– Это, ваше превосходительство, роется такая большая яма...

Губернатор резко повернулся и пошел к выходу; когда он садился в коляску, он слышал еще громкий скрип ржавых петель: то запирали мертвых.

На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить, не давать совершиться, не давать окончиться тому,

что уже совершилось и окончилось, он посетил в городской больнице раненых. Мертвые – те глядели на него, а от этих он не мог дожидаться взгляда; и в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося. Конечно, что-то огромное кончено, и больше не за чем и некуда протягивать руки.

И вот с этого мгновения для него как будто остановилось время и наступило то, чему он не мог прибрать имени и объяснения. Это не было раскаяние, – он сознавал себя правым; это не было и жалостью, тем мягким и нежным чувством, которое исторгает слезы и одевает сердце мягким и теплым покровом. Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях; сломанными куклами казались они, и не мог он почувствовать их боли и страданий. Но он не мог не думать о них, он продолжал видеть их ясно – эти фигурки из папье-маше, эти сломанные куклы – и в этом была страшная загадка, что-то похожее на чародейство, о котором рассказывают няньки. И для всех людей со времени события прошло четыре – пять – семь дней, а для него как будто и часа одного не прошло, и он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка, в этом ощущении чего-то бесповоротно совершающегося – бесповоротно совершившегося.

И он уверен, что скоро успокоился бы и позабыл то, о чем нет смысла помнить и думать, если бы окружающие меньше обращали на него внимания. Но в их обращении, в их взглядах и жестах, в почтительно участливых речах, обращенных точно к неизлечимо больному, звучит твердая уверенность, что он думает, не может не думать о происшедшем. Полицеймейстер через день успокоительно докладывает, что вот еще два-три раненых выздоровели и выписались из больницы; жена, Мария Петровна, каждое утро пробует губами его голову, не горячая ли, – как будто он ребенок, а убитые – зеленое, которого он перекушал. Какой вздор! А через неделю после события приехал с визитом сам преосвященный Мисаил, и после первых фраз ясно стало, что он заботится о том же, о чем и все, и хочет успокоить его христианскую совесть. Рабочих назвал злодеями, его – умиротворителем, и – хитрый! – не привел ни одного заезженного и выдохшегося текста, зная хорошо, что губернатор не особый охотник до поповского красноречия. И противен и жалок показался ему этот старик, бесцельно лгавший перед своим Богом.

Во время разговора архиерей обыкновенно подставлял собеседнику ухо; и, покраснев от гнева, – он сам чувствовал, как горячо стало его глазам, – губернатор сложил губы трубой и гулко захохотал в накло-

ненное к нему бескровное, мягкое ухо, покрытое седеньким пушком:

– Злодеи-то – злодеи. А я бы, ваше преосвященство, будь я на вашем месте, отслужил бы панихиду по убиенным.

Архиерей отстранил ухо, развел над животом сухими, как гусиные лапы, руками и, склонив голову, кратко сказал:

– На всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то бы не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!

Потом он любезно преподал благословение и, шурша шелком, поплыл к выходу, и вид имел такой, будто кланяется всему, мимо чего проходит, и все благословляет. В прихожей он долго и любовно возился с глубокими, как корабли, калошами и с одеванием, поворачивал ухо то направо, то налево; а губернатору, который с отвращением, из необходимой вежливости, помогал ему облачаться, твердил с убедительной ласковостью:

– Не утруждайте себя, ваше превосходительство, не утруждайте.

Из этого опять-таки выходило, что губернатор неизлечимо больной человек, которому вредно всякое усилие.

В тот же день приехал из Петербурга в недельный отпуск сын-офицер, и хотя сам он не придавал никакого значения своему необычному приезду, был шутилив и весел, но чувствовалось, что привлекла его сюда все та же непонятная забота о губернаторе. О событии он отозвался очень легко и передал, что в Петербурге восхищаются мужеством и твердостью Петра Ильича, но настойчиво советовал вытребовать сотню казаков и вообще принять меры.

– Какие меры? – удивился хмуро губернатор, но толку добиться не мог.

Тем более удивительны были все эти заботы, что в городе с того самого дня царило полное спокойствие. Рабочие тогда же приступили к работам; прошли спокойно и похороны, хотя полицеймейстер чего-то опасался и держал всю полицию наготове; ни из чего не видно было, чтобы и впредь могло повториться что-либо подобное событию 17 августа. Наконец из Петербурга, на свое правдивое донесение о происшедшем, он получил высокое и лестное одобрение, – казалось бы, что этим все должно закончиться и перейти в прошлое.

Но оно не переходит в прошлое. Точно вырвавшись из-под власти времени и смерти, оно неподвижно стоит в мозгу – этот труп прошедших событий, лишенный погребения. Каждый вечер он настойчиво зарывает

его в могилу; проходит ночь, наступает утро – и снова перед ним, заслоняя собою мир, все собою начиная и все кончая, неподвижно стоит окаменевший, изваянный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

II

Губернатор давно закончил прием, собирается ехать к себе на дачу и ждет чиновника особых поручений Козлова, который поехал кое за какими покупками для губернаторши. Он сидит в кабинете за бумагами, но не работает и думает. Потом встает и, заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна и, слегка растопырив большие, толстые пальцы, внушительно и громко говорит:

– Но в чем же дело?

И чувствует, что, пока он думал, он был просто человек, как всякий другой, Петр Ильич, а с первым же звуком голоса, с этим жестом он сразу стал губернатором, генерал-майором, его превосходительством. Становится неприятно, мысли разбиваются и бегут; и резко, по-губернаторски, дернув левым погоном, он отходит от окна и снова меряет комнату. «Так – ходят – губернаторы», – думает он нелепо, в такт крупным

и твердым шагам, и садится опять, стараясь не шевелиться, чтобы каким-нибудь неосторожным движением снова не вызвать в себе губернаторского. Звонит.

– Не приезжал?

– Никак нет, ваше превосходительство.

И пока лакей, почтительно изогнувшись, мягко излагает титул, он внезапно вспоминает: «Ах, да, ведь там побиты стекла, а я еще не смотрел. До сих пор еще не смотрел».

– Когда приедет, скажи, я буду в зале.

Рамы в высоких окнах делились по-старинному на восемь частей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией. В трех ближайших к балкону окна стекла были вставлены заново, но были грязны и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев: очевидно, никому из многочисленной и ленивой челяди в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы происшедшего. И всегда так: скажешь – сделают, а не скажешь – сами никогда не пошевелинут пальцем.

– Сегодня же вымыть. Безобразие!

– Слушаю, ваше превосходительство.

Захотелось выйти на балкон, но неудобно было привлекать на себя внимание проходящих, и сквозь мутное стекло он стал разглядывать площадь, на ко-

торой тогда бесновалась толпа, трещали выстрелы и сорок семь беспокойных людей превратились в спокойные трупы. Рядом, нога к ноге, плечо к плечу – как на каком-то парадном смотре, на который глядеть снизу.

Спокойно. Перед самым окном стоял тополь с ободранною мочалившееюся корою, уже окрашенной осенью, а за ним, спокойная и сонная, лежала под солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камешки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густея в ложбинах и канаве. Безлюдная, глухая, немного наивная была площадь, но оттого ли, что он смотрел сквозь мутные и грязные стекла, все казалось скучным, бесплодным, изнывающим в чувстве тупой и безнадежной тошноты. И хотя до ночи было далеко, все это – и ободранный тополь и ровные камешки, по которым никто не ездит, – точно умоляло ночь прийти скорее и мраком своим погасить их ненужную жизнь.

– Не приезжал?

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Когда приедет, проси сюда.

По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе, а быть может, и еще раньше – так грязны и закопчены были дорогие тисненные обои; и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись

черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. Зимой, при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мучило. Вот картина: какой-то итальянский лунный пейзаж – висит он криво, и никто этого не замечает, и кажется, что всегда висел он так, и при старом губернаторе, и при том, который был еще раньше. Мебель тоже дорогая, но просиженная, потертая, пропитанная пылью, – похоже вообще на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер от удара, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собою наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был чужой, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города – семинария и окружной суд, – четыре незнакомые чиновника, два сидят и два стоят над ними – какой-то выцветший архиерей – и круглая дыра до самого переплета.

– Какая мерзость! – громко сказал губернатор и брезгливо бросил альбом.

Рассматривал карточки он стоя и, повернувшись на каблуках, дернув погоном, сердито зашагал прямыми твердыми шагами: «Так ходят губернаторы. Так – ходят – губернаторы».

Так ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор, и тот, что был до него, и другие, неизвест-

ные. Откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами, а над ними боком висел итальянский пейзаж, устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли – что-то в этом роде было при третьем до него губернаторе.

По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью – и опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый дырявый лист и, кружась, поплыл книзу – и сразу вихрем в голове закружились: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Встают ненужные подробности: как он приготавливал платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и, зажав в маленький твердый комочек, держал в правой руке; потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал что. Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог, и железная дверь с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади – и нет возврата.

– Ах, это вы, Лев Андреевич! Наконец-то, я вас дождался.

– Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.

– Ну, едем, едем. Да, послушайте! – Губернатор остановился и раздраженно, сделав рот трубой, заго-

ворил. – Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был как-то я в жандармском управлении – так ведь это что же такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.

– Денег нет.

– Вздор! Отговорки! А это, – губернатор широко обвел рукою, – вы взгляните, что же это такое. Это же мерзость.

– Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему. Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее превосходительство вполне разделяет...

Уже на ходу губернатор отрывисто бросил:

– Не стоит.

Чиновник сочувственно взглянул на его широкую спину, жилистую шею, двумя колонками подпирающую череп, и, вкладывая в голос беззаботность, сказал:

– Да, кстати. Встретил сейчас Судака, говорит, что вчера последнего раненого выписали. самого тяжелого, почти никакой надежды не было, что поправится. Удивительно живучий народ.

Судаком в губернаторском домашнем кругу назывался полицеймейстер – за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный рост и узкую рыбью спину.

Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и солнечным теплом – как будто существовали они отдельно, и свежесть и тепло, и чувствовались также порознь. И небо было милое: нежное, далекое, неожиданное и прелестно голубое. Хорошо теперь на даче!

Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место влезавшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, согнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз, он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый, белокурый затылок и загорелую, молодую шею и заметил, что шагает он осторожно и неслышно, как босой, шагает и горбится и прячется в себя и спина его словно смотрит назад. «Какой неприятный и странный человек», – подумал губернатор. То же подумали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди коляски на извозчика: привычным и согласным движением они заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли и понеслись впереди губернатора. Извозчик у них был лихач, на резинах, колеса подпрыгивали, и кузов пролетки колыхался, и сидели они наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко ушли, чтобы не пылить губернатору.

– Кто эти двое? – спросил он чиновника, искоса подозрительно глядя на него, и тот равнодушно ответил:

– Агенты.

– А зачем это? – так же отрывисто спросил губернатор.

– Не знаю, – уклончиво ответил Лев Андреевич. – Судак все старается.

При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком сапог и молодежато козырнул безусый помощник пристава, тот, что демонстрировал трупы, а когда проезжали мимо части, из раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности, и смотрели они оба не отрываясь в спину губернатора. Чиновник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взглянул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых перчатках.

Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице, где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кирпичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Один мальчишка мелькнул на заборе, в красных листьях рябины – и быстро скользнул вниз, за забор, притаившись, очевидно, у широкой щели. Летом попадались на Канатной куры и грязные поджарые поросята, привязанные к колышкам, но те-

перь не было и их, – очевидно, трехнедельная голодовка подобрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз, и в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.

– Послушайте, – вскрикнул губернатор, хватая чиновника за колено. – Ведь этот человек...

– Какой человек?

Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника – словно в запертом и заколоченном доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно, всем широким туловищем обернулся назад и внимательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. Потом пустырь, остатки забора, забитый колодец, с опустившейся вокруг землю – и огромные липы за высокой полуразобранной огородой, большой барский дом, какими-то судьбами попавший в это захолустье,

давно уже не жилой, дряхлый, с закрытыми ставнями и заржавевшей от времени железной дощечкой: «Сей дом продается». Дальше опять домишки и три подряд голые, кирпичные корпуса без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами. Они еще новы; видна засохшая известь, и не заделаны углубления, на которых держались подмости, – но уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.

Вот и выезд в поле и последний домишко – без одного деревца вокруг, без забора; весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около – ни одного человека.

– А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью. Здесь ведь, наверное, грязь невылазная.

Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось – как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме.

III

Было много веселых игр, смеха и песен – на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича,

офицер, и знакомые собрались проводить его. На зеленых лужайках и прогалинах, под золотом и багрянцем листьев, в изумрудной прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин и мундиры военных. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк – громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под старыми, строгими деревьями, и, когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.

Полицеймейстер Судак, сильно выпивший за обедом, благосклонно глядел на всю эту веселую суматоху, остроумно козырял дамам и был счастлив. И когда из дымной темноты рядом с ним послышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять за губернаторскую талию – сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне мундира, бросил в траву только что закуренную папиросу и сказал:

– Ах, ваше превосходительство, какой волшебный праздник!

– Послушайте, Илиодор Васильевич, – перебил гу-

бернатор сдержанным басом, – зачем вы посылаете каких-то агентов? К чему это?

– Злодеи злоумышляют на вашу священную жизнь, ваше превосходительство, – с чувством сказал Судак, прижимая обе руки к мундиру. – И помимо прочего, я обязан...

Треск лопающихся бураков, смех и испуганные крики заглушили его слова; потом посыпался дождь голубых, зеленых и красных огней, выделив из дымного мрака пуговицы и погоны губернатора.

– Я знаю это, Илиодор Васильевич, то есть догадываюсь. Но не думаю, чтобы было серьезно.

– Очень даже серьезно, ваше превосходительство. Весь город трубит, даже удивительно, до чего трубит. Я уже троих в части выдержал, да не те попались.

Новый взрыв выстрелов и веселых криков прервал его речь, а когда шум улегся, губернатора уже не было.

После ужина был веселый и шумный разъезд, и управлял им молодой помощник пристава. Все, и фейерверк, на который смотрел он из кустов, и экипажи, и люди казались ему чрезвычайно красивыми, и собственный молодой голос поражал его своею силою и звучностью. Судак был совсем пьян, острил, хохотал и даже пел Марсельезу, первые слова:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!

Наконец уехали.

– Что ты все хмуришься, милый папа? – сказал офицер и с покровительственной лаской положил руку на плечо Петра Ильича.

В семье губернатора любили, а губернаторша даже немного боялась его, но почему-то с некоторого времени его считали очень старым и слегка презирали за это.

– Вздор! Я ничего, – нерешительно ответил Петр Ильич. Ему и хотелось поговорить с сыном, и боялся он этого разговора, так как давно уже разошелся с ним во взглядах. Но теперь эта именно рознь могла оказаться полезной. – Дело в том, видишь ли, – продолжал он, конфузясь, – что меня смущает этот случай, ну, с рабочими.

Он открыто взглянул на сына; тот ответил удивленным взглядом и снял с плеча руку.

– Но ведь ты же получил одобрение из Петербурга?

– Да, конечно, и я очень счастлив, но... Алеша! – С неуклюжей ласковостью пожилого и важного человека он заглянул в красивые глаза сына. – Ведь они же не турки? Они свои, русские, всё Иваны да тезки – Петры, а я по ним, как по туркам? А? Как же это?

– Они бунтовщики.

– Алеша! ведь на них кресты, а я, – он поднял па-
лец, – по крестам!

– Насколько мне известно, ты никогда, папа, не при-
давал особенного значения религии. При чем тут кре-
сты? Это хорошо для какого-нибудь приказа по полку,
что ли, а...

– Конечно, конечно, – торопливо согласился губер-
натор, – не в крестах тут дело. А я о том, что свои. По-
нимаешь, Алеша, свои. Будь я немец, Август Карло-
вич Шлиппе-Детмольд, а то ведь Петр, да еще Ильич.

Офицер становился все суше.

– Ты что-то путаешь, папа. При чем тут оказались
немцы? Наконец, если хочешь, немцы тоже стреля-
ли в немцев, французы во французов, и так далее.
Отчего же русским не стрелять в русских? Как госу-
дарственный деятель ты должен понимать, что в го-
сударстве прежде всего порядок, и кто бы ни нарушал
его, безразлично. Нарушь его я, – и ты должен был бы
стрелять в меня, как в турка.

– Это верно! – кивнул головой губернатор и заходил
по комнате. – Это верно.

И остановился.

– Да ведь с голоду, Алеша! Если бы ты их видел.

– Зензивеевские мужики тоже с голоду бунтовали,
а это не помешало тебе великолепно их выдрать.

– Одно дело выдрать, а другое... Этот дурак разложил их в ряд, как дичь, и я взглянул на их ноги и подумал: никогда эти ноги не будут ходить... Ты не хочешь понять меня, Алексей. Палач – тоже государственная необходимость, но быть им...

– Что ты говоришь, отец!

– Я знаю, я чувствую это: меня убьют. Я не боюсь смерти, – губернатор закинул седую голову и строго взглянул на сына, – но знаю: меня убьют. Я все не понимал, я все думал: но в чем же дело? – Он растопырил большие толстые пальцы и быстро сжал их в кулак. – Но теперь понимаю: меня убьют. Ты не смейся, ты еще молод, но сегодня я почувствовал смерть вот тут, в голове. В голове.

– Папа, я прошу тебя, выпиши казаков, потребуй денег на охрану. Тебе дадут. Я прошу тебя, как сын, и я прошу тебя от имени России, которой нужна твоя жизнь.

– А кто же убьет меня, как не Россия? И против кого я выпишу казаков? Против России – во имя России? И разве могут спасти казаки, и агенты, и стражники человека, у которого смерть вот тут, во лбу. Ты сегодня немного выпил за ужином, Алеша, но ты трезв, и ты поймешь: я чувствую смерть. Еще там, в сарае, я почувствовал ее, но не знал, что это такое. Это вздор, что я тебе говорил о крестах и о русских, и не в этом

дело. Ты видишь платок?

Он быстро вынул из кармана платок, расправил его и, как фокусник, показал Алексею Петровичу.

– Вот. Смотри!

Он быстро махнул платком вперед, так что волна душистого воздуха дошла до неподвижно сидевшего офицера.

– Вот. Вы новые, вы академики, вы ни во что не верите, а я верю в старый закон: кровь за кровь. Увидишь!

– Так выходи в отставку, уезжай куда-нибудь.

Он точно ждал этого предложения и не удивился.

– Нет. Ни за что! – твердо ответил он. – Ты сам понимаешь, что это было бы бегство. Вздор! Ни за что!

– Прости, папа, но ведь это же получается такая бессмыслица, – офицер прижал красивую голову к плечу и развел руками, – ведь это же я не знаю, что такое. Мама охает, ты толкуешь о какой-то смерти – ну из-за чего это? Как не стыдно, папа. Я всегда знал тебя за благоразумного, твердого человека, а теперь ты точно ребенок или нервная женщина. Прости, но я не понимаю этого.

Он сам не был нервен и не был похож на женщину, этот молодой, красивый офицер с розовыми, гладко выбритыми щеками и спокойными, уверенными движениями человека, который не только уважает, но да-

же чтит себя. Когда он бывал в народе, он чувствовал себя так, как будто он совершенно один и других людей возле него нет; и нужно было быть очень значительным человеком, особой не ниже генерала, чтобы он ощутил его присутствие и испытал то легкое стеснение, чувство самоограничения, какое обычно испытывается на людях. Он любил и умел плавать; и, купаясь летом на Неве, в общей купальне, он так спокойно, внимательно и сосредоточенно изучал свое тело, точно никого здесь не было. Однажды в этой же купальне появился китаец, и все с любопытством рассматривали его – одни искоса, другие открыто, не стесняясь; и только он один даже не взглянул на него, так как считал себя и интереснее и важнее китайца. Все в мире для него было ясно и просто, все делилось без остатка, и он знал, что с казаками во всяком случае лучше, чем без казаков.

И в упреках его звучало искреннее негодование, смягчаемое только вежливостью да боязнью задеть стариковское самолюбие... То, что происходило с его отцом, хотя и не было для него полною неожиданностью, – он всегда знал отца за фантазера, – но возмущало его, как что-то грубое, варварское, атавистическое. Кресты, кровь за кровь, Петры да Иваны – как все это нелепо!

«Однако плохой ты губернатор, хотя тебя и похва-

лили», – медленно подумал он, провожая красивыми глазами шагавшего отца.

– Так как же, папа? Ты обижаешься на меня?

– Нет, – просто ответил губернатор. – Я благодарен тебе за твое чувство, и ты хорошо сделаешь, если успокоишь мать. Я же совершенно спокоен и только высказал тебе свои соображения. По-твоему – так, по-моему – иначе, а там увидим. Однако иди спать, тебе пора.

– Мне еще не хочется. Не пройдемся ли немного по саду?

– Хорошо.

Их сразу охватила тьма, и они исчезли друг для друга – только голоса да изредка прикосновение нарушали чувство странной, всеобъемлющей пустоты. Но звезд было много, и горели они ярко, и скоро Алексей Петрович там, где деревья были реже, стал различать возле себя высокий и грузный силуэт отца. От темноты, от воздуха, от звезд он почувствовал нежность к этому темному, едва видимому, и снова повторил свои успокоительные объяснения.

– Да. Да, – отрывисто отвечал Петр Ильич, и непонятно было, соглашается он или нет.

– Как темно, однако! – сказал Алексей Петрович, останавливаясь; они вошли в глубину аллеи, и дальше ничего нельзя было разобрать в сплошном мра-

ке. – Ты бы, папа, фонари, что ли, велел поставить!

– Незачем фонари. А вот ты скажи...

Оба они стояли неподвижно, и шороха шагов не слышно было, и всеобъемлющая пустота царила безраздельно и властно.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Алексей Петрович.

– Говорит тебе что-нибудь эта темнота?

«Опять фантазии», – подумал офицер и наставительно заметил:

– Она говорит, что тебе одному здесь не следует ходить. За любым деревом может кто-нибудь сидеть и подстергать.

– Подстергать! Вот и мне она говорит то же. Вообрази, что здесь за каждым деревом сидят люди – невидимые люди – и подстергают. Их много – сорок семь, сколько было убитых, – и они сидят, слушают, что я говорю, и подстергают.

Офицеру стало неприятно. Он оглянулся кругом, ничего не увидел, кроме мрака, и сделал шаг, чтобы идти.

– Охота себя расстраивать! – недовольно заметил он.

– Нет, погоди! – И от легкого прикосновения пальцев офицер вздрогнул. – Вообрази, что и там, в городе, и везде, куда бы я ни пошел, меня подстергают. Иду

я, идет какой-то человек и меня подстерегает. Или сажусь я в коляску, а мимо проходит человек и кланяется – он меня подстерегает.

Тьма становилась зловещей, и голос, когда не видно было человека, звучал странно и чуждо.

– Довольно, папа, идем!

Офицер быстро, не ожидая отца, зашагал.

– Вот то-то! – с неожиданной шутливостью сказал Петр Ильич знакомым басом. – А ты не веришь мне. Я тебе говорю – вот она, во лбу.

Когда блеснул свет из окна, он показался так далек и недоступен, что офицеру захотелось побежать к нему. Впервые он нашел изъян в своей храбрости и мелькнуло что-то вроде легкого чувства уважения к отцу, который так свободно и легко обращался с темнотой. Но и страх и уважение исчезли, как только попал он в освещенные керосином комнаты, и было только досадно на отца, который не слушается голоса благоразумия и из старческого упрямства отказывается от казаков.

IV

Зимой и летом губернатор вставал в семь часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал двухчасовую пешую прогулку.

ку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил и при своих пятидесяти шести годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади, глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковски мясистый нос с красною вдавленной полоскою от очков. Пенсне он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки.

На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Но со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел – было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно больное. И большую часть дня, когда не ездил в город, проводил в аллеях огромного, в пятнадцать десятин парка, меряя их прямыми, твердыми шагами.

Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, и иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую, длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случилось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша – и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали

глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое, всему враждебное, то веселое, приятное, нежное, ищущее ласки, позволяло догадываться о характере этой сокровенной, загадочной работы где-то в недоступных глубинах мозга. После события обычное настроение – каковы бы ни были явные мысли – оставалось неизменно печальным, сурово безнадежным; и каждый раз, очнувшись от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь. Однажды в молодости он утопал в быстрой и глубокой реке; и долго потом он сохранял в душе бесформенный образ удушающего мрака, бессилия и втягивающей в себя, засасывающей глубины. И теперь было что-то похожее.

Через два дня после отъезда сына, в солнечное, безветренное утро он также ходил по аллее и думал. С аллеи уже успели смести напавший за ночь желтый лист, и на бороздках от метлы отчетливо ложились следы больших ног, с высоким каблуком и широкой четырехугольной подошвой – вдавленные следы, точно к тяжести человека прибавилась тяжесть его мыслей и вдавливала его в землю. Минутами он останавливался, и тогда где-то над головой в путанице осве-

ценных солнцем ветвей слышался отчетливый рабочий стук дятла. Раз в одну из остановок аллею перебежала белка, точно красноватый комок на колесиках перекатился с одного дерева на другое.

«Убьют меня, наверное, из револьвера, теперь есть хорошие револьверы, – думал он. – А бомб в нашем городишке и делать не умеют, да и вообще бомбы для государственных деятелей, которые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют бомбой, – придумал Петр Ильич, и левый ус его приподнялся легкой насмешливой улыбкой, хотя глаза оставались по-прежнему хмуры и серьезные. – А прятаться не стану, нет, довольно уже того, что я сделал».

Он остановился и снял с тужурки паутинку.

«Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют, как негодяя. Очень жаль, но ничего не поделаешь. И говорить не стану. Зачем разжалобивать судью? Судью разжалобивать нечестно. Ему и так трудно, а тут еще перед ним будут хныкать: я честный, честный».

Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его взял, и, главное, взял так, как будто это вопрос давно уже решенный. Словно он уже крепко спал, и во сне кто-то разъяснил ему все, что нужно, про судью и убедил его; потом он проснулся, сон поза-

был, объяснения позабыл, а знает только, что есть судья, вполне законный судья, облеченный огромными и грозными полномочиями. И теперь, после минутного удивления, он принял этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.

«Вот Алеша этого не понимает. По его – все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость – стрелять в голодных. Государственная необходимость – кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается».

И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух и захватил дыхание, и одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное:

– Поздно!

Он не знал, была ли это мысль, или чувство, или он вслух произнес его, как слово; оно прозвучало громко и отовсюду и удалилось быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного, разрозненного бегства, болючих столкновений – и мертвенное спокойствие, почти отдых.

Блеснули на солнце, сквозь деревья, стекла оранжеи, треугольник белой стены, как кровью окрапленный красными листьями дикого винограда; и, под-

чиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.

– А садовника нет?

– Нету, ваше превосходительство. В город уехал, за прививками – нынче пятница.

– Ага! Хорошо идет все?

– Слава богу.

Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную, тяжелую влагу; и чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая на солнце огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.

– Ну как, брат Егор?

Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос; он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.

– Слышал я, Егор, будто хотят меня убить. За рабочих, знаешь, тогда...

Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки – спрятал их за спину и молчал.

– Так как же думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Да говори, чего там, наше дело стариковское.

Егор мотнул головой, рассыпав по лбу сизые курчавые волосы, поглядел на губернатора и ответил:

– Кто их знает. Пожалуй что убьют, Петр Ильич.

– А кто же убьет-то?

– Да народ! Общество – по-нашему, по-деревенскому.

– А садовник что говорит?

– Не знаю, Петр Ильич, не слыхал.

Оба вздохнули.

– Плохо, значит, дело, старик? Ты бы сел.

Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.

– А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются, чуть в меня не попали...

– От тоски это. Намедни на базаре один пьяный, мастеровой, что ли, кто его знает, плакал-плакал, а потом поднял каменюгу, да как бацнет. От тоски это, не иначе как.

– Убьют, а потом сами пожалеют, – задумчиво сказал губернатор, представляя себе лицо сына Алексея Петровича.

– Пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то: горькие слезы прольют.

Вспыхнула надежда:

– Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик!

Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглой, словно затвердел. И весь он на мгновение показался высеченным из камня; и мягкость складок кумачовой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею и совсем как живые, – все это было словно обман со стороны безмерно талантливому художнику, облекшего твердый камень видом пушистых и легких тканей.

– Кто их знает, – ответил Егор, не глядя. – Народ, стало быть, желает. Да вы не задумывайтесь, ваше превосходительство, мало ли болтают зря. Поговорят-поговорят, а там и сами забудут.

Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал; но была в его словах страшная убедительность, как в тех полуснах, что грезилась губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза: «Народ желает» – очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич, и была особенно убедительной, неопровержимой; но, быть может, даже не в словах Егора была эта странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежеею землею.

А солнце светило.

– Ну, прощай, Егор. Дети есть?

– Будьте здоровы, Петр Ильич.

Губернатор застегнулся наглухо, выправил плечи и

достал из кармана серебряный рубль.

– На-ка, старик, купишь там себе чего-нибудь.

Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна была, казалось, скатиться, как с крыши, и поблагодарил.

«Странные эти люди, – подумал губернатор, рассекая блики и тени пронизанной солнцем аллеи и сам дробясь на светлые и темные кусочки. – Очень странные люди: у них нет обручальных колец, и никогда не поймешь, – женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца: серебряные. Или даже оловянные. Как это странно: оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в три рубля. Какая бедность. Я не посмотрел: у них в сарае тоже были, вероятно, оловянные кольца. Оловянные с тоненьким пояском посередине, теперь я помню».

Все ниже и ниже, кружась, как ястреб над замеченным кустом, и суживая круги, опускалась мысль в глубину; и солнце погасло, и исчезла аллея – стукнул дятел, лист проплыл, и исчезло все; и сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.

Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль, точно заранее намечая череп; рот открыт широко и страшно – он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и

он рвет ее дальше, легко, без треска, как мягкую бумагу, и обнажает грудь. Грудь белая, и половина шеи белая, а с половины к лицу она темная – как будто туловище у него общее со всеми людьми, а голова наставлена другая, откуда-то со стороны.

– Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.

Но белая обнаженная грудь слепо лезет на него.

– На, возьми! Вот она! А правду отдай. Правду отдай.

– Но где же я возьму правду? Какой ты странный.

Женщина говорит:

– Детки все перемерли. Детки все перемерли. Детки-детки-детки все перемерли.

– Оттого так и пусто у вас на улице.

– Детки-детки-детки все перемерли. Детки.

– Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок, маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, но ведь у вас оловянные кольца.

– На нас железные кольца. Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца.

На черном крыльце, в тени, горничная чистит платье Марьи Петровны; окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями, грязно.

«Куда я пришел! – удивляется губернатор. – Ведь это кухня! О чем я думал? Вот о чем: нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Еще рано, десять. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить».

И еще долго ходил он по аллеям и все думал. И в том, как он думал, был похож на человека, переходящего вброд широкую и незнакомую реку; то идет он по колено, то надолго исчезает под водою и возвращается оттуда бледный, полузадохшийся. Думал он о сыне Алексее Петровиче, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно прибегала к событию, роясь в нем, как в неистощимом руднике. И даже странно было, о чем он мог думать раньше – до несчастья; все помимо его казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.

Зензивеевских крестьян он выпорол около пяти лет тому назад, на второй год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра; и с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына очень энергичного и распорядительного человека. Он смутно, за давностью времени, помнит, что мужики насильственно забрали у помещика какой-то хлеб, а он приехал с солдатами

и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Не было ничего ни страшного, ни угрожающего – скорее что-то нелепо-веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под шутки и смех развеселившихся полицейских и солдат. Потом они вскрикивали, дико взмахивали руками и, словно слепые, тыкались в загорожи, в стены, в солдат. Один мужик, оторванный от мешка, молча, трясущимися руками шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. На версту кругом нельзя было найти ни одного камня, а он все шарил, и, по знаку исправника, полицейский презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он стал на четвереньки и так, на четвереньках, куда-то пополз. И как будто все они, и этот мужик и другие, были сделаны из дерева – так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях: чтобы повернуть мужика лицом, куда надо, его ворочали двое. И уже став, как следует, он все еще не догадывался, куда надо смотреть, а когда находил, то уже не мог оторваться, и опять двое людей с усилием поворачивали его.

– Ну-ка, дядя, скидавай портки. Купаться будешь.

– Чего? – недоумевал мужик, хотя дело было ясно.

Чужая рука расстегивала единственную пуговицу, портки спадали, и мужицкая тощая задница бесстыд-

но выходила на свет. Пороли легко, единственно для острастки, и настроение было смешливое. Уходя, солдаты затащили лихую песню, и те, что ближе были к телегам с арестованными мужиками, подмаргивали им. Было это осенью, и тучи низко ползли над черным жнивьем. И все они ушли в город, к свету, а деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, глинистых полей с коротким и редким жнивьем.

– Детки все перемерли. Детки-детки все перемерли. Детки.

Ударили в гонг к завтраку. Быстрые веселые удары звонко разнеслись по парку. Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы – было без десяти минут двенадцать. Спрятал часы и остановился.

– Позорно! – гулко и гневно произнес он, скривив рот. – Позорно. Боюсь, что я негодяй.

После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Хмуро и рассеянно, поблескивая очками, он разбирал конверты, одни откладывая в сторону, другие обрезая ножницами и невнимательно прочитывая. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Отложив конверт, он развернул тонкий, промокший от

чернил лист и прочел:

«Убийца детей».

Все белее и белее становится лицо; вот оно почти такое же белое, как волосы. И расширенный зрачок сквозь толстые выпуклые стекла видит:

«Убийца детей».

Буквы огромны, кривы и остры и страшно черны; и они колышутся на лохматой, как дерюга, бумаге:

«Убийца детей».

V

Уже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Никто еще не говорил, а все уже знали: как будто в эту ночь, когда живые тревожно спали, а убитые все в том же удивительном порядке, ногою к ноге, спокойно лежали в пожарном сарае, над городом пронесся кто-то темный и весь его осенил своими черными крыльями.

И когда люди заговорили об убийстве губернатора, одни раньше, другие – сдержанные – позже, то как о вещи уже давно и бесповоротно кем-то решенной. И одни, очень многие, говорили равнодушно, как о деле, их не касающемся, как о солнечном затмении, которое будет видимо только на другой стороне земли и

интересно только жителям той стороны; другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания, и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. Мнения разделялись; но в спорах, самых непримиримых, не было особенной горячности: как будто речь шла не о событии, которое еще только может совершиться, а о факте случившемся, в котором никакие взгляды ничего изменить не могут. И у людей образованных спор вследствие этого очень быстро переходил на широкую теоретическую почву, а о самом губернаторе они забывали, как о мертвом.

В спорах выяснилось, что у губернатора больше друзей, чем врагов, и даже многие из тех, кто в теории стоял за политические убийства, для него находили извинения; и если бы произвести в городе голосование, то, вероятно, огромное большинство, руководясь различными практическими и теоретическими соображениями, высказалось бы против убийства, или казни, как называли ее некоторые. И только женщины, обычно жалостливые и боящиеся крови, в этом случае обнаруживали странную жестокость и непобедимое упрямство: почти все они стояли за смерть, и, сколько им ни доказывали, как ни бились над ними, они твердо и даже как будто тупо стояли на сво-

ем. Случалось, что женщина сдавалась и признавала ненужность убийства, – а наутро, как ни в чем не бывало, точно заспав вчерашнее свое согласие, она снова твердила о том, что убить нужно.

И в общем была все та же путаница мыслей и жестокая разноголосица; и если бы кто-нибудь свежий со стороны послушал, что говорят, он никогда не понял бы, следует убивать губернатора или нет. И, удивленный, спросил бы:

– Но почему же вы думаете, что он будет убит? И кто убьет его?

И не получил бы ответа; а через некоторое время знал бы, как и все, черпая знание свое из того же неведомого источника, как и все, – что губернатор будет убит и смерть неотвратима. Ибо все, и друзья губернатора и враги, и оправдывающие его и обвиняющие, – все подчинялись одной и той же непоколебимой уверенности в его смерти. Мысли были разные, и слова были разные, а чувство было одно – огромное, властное, всепроникающее, всепобеждающее чувство, в силе своей и равнодушии к словам подобное самой смерти. Рожденное во тьме, само по себе неисследимая тьма, оно царило торжественно и грозно, и тщетно пытались люди осветить его свечами своего разума. Как будто сам древний, седой закон, смерть карающий смертью, давно уснувший, чуть

ли не мертвый в глазах невидящих – открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего. И, неосмысленно лживые в своем сопротивлении, люди подчинились велению и отошли от человека, и стал он доступен всем смертям, какие есть на свете; и отовсюду, из всех темных углов, из поля, из леса, из оврага, двинулись они к человеку, пошатываясь, ковыляя, тупые, покорные, даже не жадные.

Так, вероятно, в далекие, глухие времена, когда были пророки, когда меньше было мыслей и слов и молод был сам грозный закон, за смерть платящий смертью, и звери дружили с человеком, и молния протягивала ему руку – так в те далекие и странные времена становился доступен смертям преступивший: его жалила пчела, и бодал осторогий бык, и камень ждал часа падения своего, чтобы раздробить непокрытую голову; и болезнь терзала его на виду у людей, как шакал терзает падаль; и все стрелы, ломая свой полет, искали черного сердца и опущенных глаз; и реки меняли свое течение, подмывая песок у ног его, и сам владыка-океан бросал на землю свои косматые валы и ревом своим гнал его в пустыню. Тысячи смертей, тысячи могил. В мягком песке своем хоронила его пустыня и свистом ветра своего плакала и смеялась над ним; тяжкие громады гор ложились на его грудь и в

вековом молчании хранили тайну великого возмездия – и само солнце, дающее жизнь всему, с беспечным смехом выжигало его мозг и ласково согревало мух в провалах несчастных глаз его. Давно это было, и молод, как юноша, был великий закон, за смерть платящий смертью, и редко в забвении смежал он свои холодные орлиные очи.

Скоро в городе смолкли и разговоры, отравленные бесплодностью. Нужно было или принимать убийство, как святой факт, на все возражения и доводы приводя, подобно женщинам, одно непоколебимое: «нельзя же убивать детей», или же безнадежно запутываться в противоречиях, колебаться, терять свою мысль, обмениваться ею с другими, как иногда пьяные обмениваются шапками, и все же ни на йоту не подвигаться с места. Говорить стало скучно, и говорить перестали, и на поверхности не осталось ничего, что напоминало бы о событии; и среди наступившего молчания и спокойствия грозовой тучей нарастало великое и страшное ожидание. И те, кто был равнодушен к событию и странным выводам из него, и те, кто радовался предстоящей казни, и те, кто глубоко возмущался ею, – все одним огромным ожиданием, напряженным и грозным, ожидали неизбежного. Умри в это время губернатор от лихорадки, от тифа, от случайно разрядившегося охотничьего ружья, никто не

счел бы это случайностью и за видимой причиной нашли бы другую, невидимую, даже несознаваемую, но настоящую. И по мере того как нарастало ожидание, все больше и больше думали о Канатной.

А на Канатной было спокойно и тихо, как и в самом городе, и многочисленные сыщики тщетно доискивались признаков нового бунта или какого-нибудь преступного и страшного замысла. Как и в городе, они наткнулись на слух о предстоящем убийстве губернатора, но источника также найти не могли: говорили все, но так неопределенно, даже нелепо, что нельзя было ни о чем догадаться. Кто-то очень сильный, даже могущественный, бьющий без промаха, должен на днях убить губернатора – вот и все, что можно было понять из разговоров. Сыщик Григорьев, притворяясь пьяным, подслушал в воскресенье в пивной лавке один из таких таинственных разговоров. Два рабочих, сильно выпивших, почти пьяных, сидели за бутылкой пива и, перегибаясь друг к другу через стол, задевая бутылки неосторожными движениями, таинственно вполголоса разговаривали.

– Бомбой убьют, – говорил один, видимо, более осведомленный.

– Н-ну, бомбой? – удивлялся другой.

– Ну да, бомбой, а то как же, – он затянулся папиросой, выпустил дым прямо в глаза собеседнику и стро-

го и положительно добавил: – На клочки разнесет.

– Говорили, что на девятый день.

– Нет, – сморщился рабочий, выражая высшую степень отрицания, – зачем на девятый день. Это суеверие, девятый день. Убьют просто утром.

– Когда?

Рабочий отгородился от залы пятью растопыренными пальцами, нагнулся, покачиваясь, вплотную к собеседнику и громким шепотом сказал:

– В то воскресенье, через неделю.

Оба, покачиваясь и странно расплываясь в глазах друг друга, таинственно помолчали. Потом первый таинственно поднял палец и погрозил.

– Понимаешь?

– Они уж маху не дадут, нет, не таковские.

– Нет, – поморщился первый. – Какой там мах! Дело чистое, четыре туза.

– Хлюст козырей, – подтвердил второй.

– Понимаешь?

– Ну да, понимаю.

– А если понимаешь, так выпьем еще? Уважаешь ты меня, Ваня?

И долго с величайшей таинственностью они шептались, переглядывались, жмурили глаза и тянулись друг к другу, роняя пустые бутылки. В ту же ночь их арестовали, но ничего подозрительного не нашли, а

на первом же допросе выяснилось, что оба они решительно ничего не знают и повторяли только какие-то слухи.

– Но почему же ты даже день назначил, воскресенье? – сердито говорил жандармский подполковник, производивший допрос.

– Не могу знать, – отвечал встревоженный, три дня не кутивший рабочий. – Пьян был.

– Всех бы вас, ссс... – кричал подполковник, но ничего добиться не мог.

Но и трезвые были не лучше. В мастерских, на улице они открыто перекидывались замечаниями относительно губернатора, бранили его и радовались, что он скоро умрет. Но положительного не сообщали ничего, а вскоре и говорить перестали и терпеливо ждали. Иногда за работой один бросал другому:

– Вчера опять проезжал. Без солдат.

– Сам лезет.

И опять работали. А на следующее утро в другом конце слышалось:

– Вчера опять проезжал.

– Пускай поездит.

Точно отсчитывали каждый лишний день его жизни. И уже два раза было так, что внезапно, почти одновременно во всех концах Канатной и на заводе создавалась уверенность, что губернатор сейчас

только убит. Кто первый приносил весть, доискаться было невозможно, но собравшись в кучку, передавали подробности убийства – улицу, час, число убийц, оружие. Находились почти очевидцы, слышавшие гул взрыва. И стояли все бледные, решительные, не выражая ни радости, ни горя, пока уже через несколько минут не приходило опровержение слуха. И тогда так же спокойно расходились, без разочарования – как будто не стоило огорчаться из-за дела, которое отложено на несколько дней – быть может, часов – быть может, минут.

Как и в городе, женщины на Канатной были самыми неумолимыми и беспощадными судьями. Они не рассуждали, не доказывали, они просто ждали – и в ожидание свое вносили весь пламень непоколебимой веры, всю тоску своей несчастной жизни, всю жестокость обнищавшей, голодной, задушенной мысли. У них в жизни был свой особенный враг, которого не знали мужчины, – печка, вечно голодная, вечно вопрошающая своей открытой пастью маленькая печка, более страшная, чем все раскаленные печи ада. С утра и до ночи, каждый день, всю жизнь она держала их в своей власти; убивая душу, она вытравила из головы все мысли, кроме тех, которые служат ей и нужны ей самой. Мужчины этого не знали: когда женщина утром, проснувшись, взглядывала на печь, плохо

прикрытую железной заслонкой, она поражала ее воображение, как призрак, доводила ее почти до судорог отвращения и страха, тупого, животного страха. Ограбленная в мыслях своих, женщина даже не умела назвать своего врага и грабителя; оглушенная, она вновь и вновь покорно отдавала ему душу, и только смертельная, черная тоска окутывала ее непроницаемым туманом. И от этого все женщины Канатной казались злыми: они били детей, забивая их чуть не насмерть, ругались друг с другом и с мужьями; и их уста были полны упреков, жалоб и злобы.

И во время страшной трехнедельной голодовки, когда по нескольку дней не топилась печь, женщины отдыхали – странным отдыхом умирающего, у которого за несколько минут до смерти прекратились боли. Мысль, на минуту вырвавшаяся из железного круга, со всею своей страстью и силой прилепилась к призраку новой жизни – точно борьба шла не из-за лишних пяти рублей в месяц, о которых толковали мужчины, а из-за полного и радостного освобождения от всех вековых пут. И хороня детей, умиравших от истощения, и оплакивая их кровавыми слезами, темнея от горя, усталости и голода – женщины в эти тяжелые дни были кротки и дружелюбны, как никогда: они верили, что не может даром пройти такой ужас, что за великими страданиями идет великая награда. И когда

17 августа на площади, сверкая в солнечных лучах, к ним вышел губернатор, они приняли его за самого седого Бога. А он сказал:

– Нужно стать на работу. Прежде чем вы станете на работу, я не могу с вами разговаривать.

Потом:

– Я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Становитесь на работу, и я напишу в Петербург.

Потом:

– Хозяева ваши не грабители, а честные люди, и я приказываю вам так не называть их. А если вы завтра же не станете на работу, я прикажу закрыть завод и разошлю вас.

Потом:

– Дети мрут по вашей вине. Становитесь на работу.

Потом:

– Если вы будете так вести себя и не разойдетесь, я прикажу разогнать вас силой. Становитесь на работу.

Потом хаос криков, плач детей – трескотня выстрелов, давка – и ужасное бегство, когда человек не знает, куда бежит, падает, снова бежит, теряет детей, дом. И снова быстро, как будто и мгновения одного не прошло – проклятая печь, тупая, ненасытная, вечно раскрывающая свою пасть. И то же, все то же, от чего они ушли навсегда и к чему вернулись – навсегда.

Быть может, именно в женской голове зародилась

мысль о том, что губернатор должен быть убит. Все старые слова, которыми определяются чувства вражды человека к человеку, ненависть, гнев, презрение, не подходили к тому, что испытывали женщины. Это было новое чувство – чувство спокойного и бесповоротного осуждения; если бы топор в руке палача мог чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же – холодный, острый, блестящий и спокойный топор. Женщины ждали спокойно, не колеблясь ни на минуту, не сомневаясь, и ожиданием своим наполняли воздух, которым дышали все, которым дышал губернатор. Они были наивны. Стоило где-нибудь громко хлопнуть дверью, стоило кому-нибудь, топя ногами, пробежать по улице, – они выбегали наружу, просто-волосые, почти уже удовлетворенные.

– Убит?

– Нет, так. Сенька за водкой пробежал.

И так до нового стука и нового топота ног по при тихшей, омертвевшей улице. Когда проезжал губернатор, они жадно из-за занавесок глядели на него; губернатор проезжал, и они снова возвращались к печке. Их не удивило, когда губернатор, всегда ездивший со стражниками, вдруг стал ездить один, без охраны – как топор, если б он мог чувствовать, не удивился бы, увидав голую шею. Так нужно, чтоб она была голая. Из серых нитей действительности они сплетали пыш-

ную легенду. И это они, серые женщины серой жизни, разбудили старый седой закон, за смерть платящий смертью.

Горе об убитых выразалось сдержанно и глухо: оно было только частицей общего великого горя и поглощалось им бесследно – как соленая слеза соленым океаном. Но в пятницу, к концу третьей недели после убийства, внезапно сошла с ума Настасья Сазонова, у которой была убита дочь, семилетняя девочка Таня. Три недели она работала, как и все, у своей печки, ссорилась с соседками, кричала на двоих оставшихся детей и внезапно, когда никто этого не ожидал, потеряла рассудок. Еще с утра у нее стали дрожать руки, и она разбила чашку; потом словно туман нашел на нее, и она начала забывать, что хочет делать, бросалась от одной вещи к другой и бессмысленно повторяла:

– Господи! Что это я!

И наконец замолчала совсем и молча, с дикой покорностью совалась из угла в угол, переноса с места на место одну и ту же вещь, ставя ее, снова беря – бессильная и в начавшемся бреде оторваться от печки. Дети были на огороде, пускали змея, и, когда мальчишка Петька пришел домой за куском хлеба, мать его, молчаливая и дикая, засовывала в потухшую печь разные вещи: башмаки, ватную рваную

кофту, Петькин картуз. Сперва мальчик засмеялся, а потом увидел лицо матери и с криком побежал на улицу.

– А-а-а-й! – бежал он и кричал, полоша улицу.

Собрались женщины и стали выть над нею, как собаки, охваченные тоской и ужасом. А она, ускоряя движения и отпихивая протянутые руки, порывисто кружилась на трех аршинах пространства, задышалась и бормотала что-то. Понемногу резкими короткими движениями она разорвала на себе платье, и верхняя часть туловища оголилась, желтая, худая, с отвислыми, болтающимися грудями. И завывала она страшным тягучим воем, повторяя, бесконечно растягивая одни и те же слова:

– Не могу-у, го-о-лубчики, не мо-о-г-у-у-у.

И выбежала на улицу, а за нею все. И тогда, на мгновенье, вся Канатная превратилась в один сплошной бабий вой, и уже нельзя было разобрать, кто сумасшедшая и кто нет. И только тогда прекратился он, когда приказчики из заводской лавки поймали сумасшедшую и веревками скрутили ей руки и ноги и облили ее несколькими ведрами воды. Она лежала на дороге, среди свежей лужи от воды, плотно прилегая голой грудью к земле и выставляя кулаки скрученных и посиневших рук. Лицо она отвернула в сторону и смотрела дико, не мигая; седоватые мокрые во-

лосы облипали голову, делая ее странно маленькой, и вся она изредка вздрагивала. С завода прибежал муж, испуганный, не успевший отмыть закопченного лица; блуза у него была также закопченная, лоснящаяся от масла, и промасленной грязной тряпкой был завязан обожженный палец на левой руке.

– Настя! – хмуро и сурово сказал он, наклонившись. – Что это ты? Ну чего?

Она молчала, вздрагивала и смотрела дико, не мигая. Посмотрел на затекшие, побагровевшие руки, стянутые веревкой безжалостно, и развязал их, тронул пальцами голое желтое плечо. Уже ехал на извозчике городской.

Когда толпа расходилась, двое из нее пошли не к заводу, как все, и не остались на Канатной, а медленно направились к городу. Шли они, задумавшись, в ногу, и молчали. В конце Канатной они простились.

– Какой случай! – сказал один. – Зайдешь ко мне?

– Нет, – коротко ответил второй и зашагал.

У него была молодая загорелая шея, и из-под картуза вились белокурые волосы.

VI

В губернаторском доме узнали о предстоящей смерти губернатора не раньше и не позже, чем в дру-

гих местах, и отнеслись к ней со странным равнодушием. Как будто близость к живому, здоровому и крепкому человеку мешала понять, что такое смерть – его смерть; чем-то вроде временного отъезда представлялась она. В половине сентября, по настоянию полицеймейстера, убедившего Марию Петровну, что жизнь на даче становится опасной, переехали в город, и жизнь потекла обычным, много лет не меняющимся порядком. Чиновник Козлов, сам не любивший грязь и казенщину губернаторского жилища, почти самовольно приказал оклеить новыми обоями зал и гостиную и побелить потолки и заказал новую декадентскую мебель из зеленого дуба. Вообще он присвоил себе права домашнего диктатора, и все были этим довольны: и прислуга, почувствовавшая оживление, и сама Мария Петровна, ненавидевшая хозяйство и домостроительство. При всей своей огромности губернаторский дом был очень неудобен: отхожие места и ванная были чуть ли не рядом с гостиной, а кушанья из кухни лакеи должны были носить через стеклянный холодный коридор, мимо окон столовой, и часто видно было, как они ругаются и толкают друг друга под локоть. И это все хотел переделать Козлов, но приходилось отложить до будущего лета.

«Доволен будет», – думал он про губернатора, но почему-то представлял себе не Петра Ильича, а ко-

го-то другого; но не замечал этого, охваченный порывом реформаторства.

По-прежнему Петр Ильич представлял центр дома и его жизни, и слова: «его превосходительство желает», «его превосходительство будет сердиться» – не сходили с языка; но если бы вместо него подставить куклу, одеть ее в губернаторский мундир и заставить говорить несколько слов, никто бы не заметил подмены: такую пустотою формы, потерявшей содержание, веяло от губернатора. Когда он действительно сердился и кричал на кого-нибудь и кто-нибудь пугался, то казалось, что все это нарочно, и крики и испуг, а на самом деле ничего этого нет. И убей он кого-нибудь в это время, то и сама смерть не показалась бы настоящей. Еще живой для себя, он уже умер для всех, и они вяло возились с мертвецом, чувствуя холод и пустоту, но не понимая, что это значит. Мысль изо дня в день убивала человека. Черпая силу во всеобщности, она становилась более могущественной, чем машины, орудия и порох; она лишала человека воли и ослепляла самый инстинкт самосохранения; она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить. Мысль убивала его. Повелительная, она вызывала из тьмы тех, кто должен нанести удар, – создавала их, как творец. И незаметно для

себя люди отходили от обреченного и лишали его той невидимой, но огромной защиты, какую для жизни одного человека представляет собой жизнь всех людей.

После первого анонимного письма, где губернатор назывался «убийцею детей», прошло несколько дней без писем, а потом, точно по молчаливому уговору, они посыпались как из разорвавшегося почтового мешка, и каждое утро на столе губернатора выростала кучка конвертов. Как выходит из чрева созревший плод, так эта убийственная повелительная мысль, дотоле слышная только по глухому биению сердца, неудержимо стремилась наружу и начинала жить своей особенной, самостоятельной жизнью. В разных концах города, из разных почтовых ящиков, разными людьми выбирались рассеянные письма, затерянные в гряде других; потом они собирались в однородную кучку и одним человеком приносились к тому, кто был их единственной целью. И раньше приходилось губернатору получать анонимные письма, редко с бранью и неопределенными угрозами, большею частью с доносами и жалобами, и он никогда не читал их; но теперь чтение их стало повелительной необходимостью, такую же, как неумирающая мысль о событии и о смерти. И читать их, как и думать, нужно было одному, когда никто не мешает.

Редко днем, а чаще вечером он крепко усаживал-

ся в кресло перед столом с разбросанными бумагами и стаканом остывающего чая, расправлял плечи, надевал золотые, сильно увеличивающие очки и, внимательно оглядев конверт, обрезал его по краю. Теперь уже по одному виду он научился узнавать эти письма, ибо при всем разнообразии почерков, бумаг и марок было в них что-то общее, как у тех мертвых в сарае; и не только он, но и швейцар, принимавший личную корреспонденцию Петра Ильича, безошибочно узнавал их. Читал он внимательно, серьезно, с начала до конца каждое письмо, и если какое-нибудь слово было неразборчиво, то долго вглядывался и соображал, пока не разберет. Письма неинтересные или наполненные одной сплошной и неприличной бранью он рвал; также уничтожал он письма, в которых неизвестные доброжелатели предупреждали его о готовящемся убийстве; но другие он помечал номером и откладывал для какой-то смутно им чувствуемой цели.

В общем, при всем внешнем различии в языке и степени грамотности, содержание писем было утомительно однообразно: друзья предупреждали, враги грозили, и выходило что-то вроде коротких и бездоказательных «да» и «нет». К словам: «убийца», с одной стороны, и «доблестный защитник порядка» — с другой, он привык, так часто, почти неизменно повторялись они в письмах; как будто привык он и к тому,

что все, и друзья и враги, одинаково верили в неизбежность смерти. И только холодно становилось и хотелось согреться, но нечем было: чай был холодный – теперь всегда почему-то ему подавался холодный чай, и холодна была высокая, казенная кафельная печка. Уже давно, с самого поселения своего в этом доме, он хотел сделать камин, но так и не устроил, а старая печь плохо прогревалась при самой усиленной топке. Безднадежно потершись спиной о холодные кафли, только внизу чуть-чуть теплевшие, он прохаживался раза два по холодному кабинету, согревал руку о руку и говорил своим великолепным, командующим басом:

– Однако как я стал зябок!

И снова садился за письма, доискиваясь в них чего-то самого важного и самого главного.

«Ваше превосходительство! Вы генерал, но и генералы смертны. Одни генералы умирают своею смертью, другие же насильственной. Вы, ваше превосходительство, умрете смертью насильственной. Имею честь остаться вашим покорнейшим слугою».

Улыбнувшись, – он тогда еще улыбался, – губернатор хотел разорвать тщательно выписанное письмо, но раздумал, пометил на широком поле номер: 43, 22 сентября 190... г., и отложил.

«Г. губернатор, или, по-настоящему, турецкий па-

ша! Вы вор и наемный убийца, и я мог бы доказать перед всем светом, что за убийство рабочих вы содрали с акционеров кругленькую сумму...»

Губернатор побагровел, скомкал письмо, сорвал с покрасневшего большого носа очки и громко произнес, точно ударил в бубен:

– Болван!

Потом, заложив руки в карман и оттопырив локти, заходил по комнате сердитыми, отбивающими такт шагами. Так – ходят – губернаторы. Успокоившись, расправил письмо, прочел его до конца, пометил слегка дрожащей рукой номер и бережно отложил. «Пусть почитает», – подумал он про сына.

Но в тот же вечер судьба послала ему другое письмо, подписанное «Рабочий». Впрочем, кроме этой подписи ничто не говорило о человеке мускульного труда, малообразованном и жалком, каким привык представлять их себе губернатор.

«На заводе и в городе говорят, что вы будете скоро убиты. Мне в точности неизвестно, кем это будет сделано, но не думаю, чтобы представителями какой-нибудь организации, а скорее кем-нибудь из добровольцев-граждан, глубоко возмущенных вашей зверской расправой над рабочими 17 августа. Сознаюсь откровенно, что я и некоторые мои товарищи против этого решения, не потому, конечно, чтобы мне было вас

жаль, – ведь вы сами не пожалели же даже детей и женщин, – и думаю, никто во всем городе вас не пожалеет, но просто потому, что по взглядам моим я против убийства, как против войны, так против смертной казни, политических убийств и вообще всяких убийств. В борьбе за свой идеал, который состоит в «свободе, равенстве и братстве», граждане должны пользоваться такими средствами, которые не противоречат этому идеалу. Убивать же – это значит пользоваться обычным средством людей старого мира, у которых девизом служит «рабство, привилегии, вражда». Из плохого ничего хорошего выйти не может, и в борьбе, которая ведется оружием, победителем всегда будет не тот, который лучше, а тот, который хуже, то есть который жесточе, меньше жалеет и уважает человеческую личность, неразборчив в средствах, одним словом, иезуит. Хороший человек, если будет стрелять, так непременно либо промахнется, либо устроит какую-нибудь глупость, от которой попадетса, потому что душа его стоит против того, что делает его рука. По этой именно причине, я думаю, так мало в известной нам истории удачных политических убийств, потому что те господа, которых хотят убить, подлецы, знающие всякие тонкости, а убивающие их – честные люди, и влопываются. Поверьте, г. губернатор, что если бы покушающиеся на вашего брата были подлецы,

так они нашли бы такие лазейки и способы, которые и в голову не могут прийти людям честным, и давно бы всех поукокошили. Я и революцию, по моим взглядам, признаю только как пропаганду идей, в том смысле, в каком были христианские мученики, потому что когда рабочие даже как будто победят, то подлецы только притворяются побежденными, а сами сейчас же и придумают какое-нибудь жульничество и облапошат своих победителей. Побеждать нужно головой, а не руками, потому что на голову подлецы слабы; по этой-то причине они и прячут книги от бедного человека и держат его во тьме невежества, что боятся за себя. Вы думаете, почему хозяева не хотят дать восьмичасового дня? Вы думаете, они и сами не знают, что при восьми часах производительность будет не меньше, чем при одиннадцати, а только дело в том, что при восьми часах рабочие станут умнее хозяев и отберут у них дела. Они ведь и умными считаются только потому, что всех задурили, а против настоящего умного человека им грош цена. Извините, что я ударился в рассуждения о таких материях, но это затем, чтобы по первым моим словам против вашего убийства вы не приняли меня за отступника от общего дела всех честных людей. Должен еще к этому добавить, что 17-го числа я и другие мои товарищи, которые разделяют мои убеждения, на площадь не ходили, потому что

хорошо знали, чем это кончится, и не хотели разыгрывать из себя дураков, которые верят, что у вашего брата есть справедливость. Теперь и остальные, конечно, товарищи согласились и говорят: «Теперь уж если пойдем, так не просить, а разносить», а по-моему, и это глупость, и я говорю: зачем ходить, скоро к нам сами придут с поклоном и ласковыми словами, вот тогда мы и покажем. Милостивый государь! Извините, что я имел дерзость обратиться к вам с моим словом рабочего-самоучки, но мне все-таки удивительно, что человек образованный и не такой подлец, как другие, мог так обойтись с несчастными, доверившимися ему рабочими, чтобы стрелять в них. Может быть, вы окружите себя казаками, нагоните шпионов или уедете куда-нибудь и таким образом спасете свою жизнь, и тогда мои слова могут вам принести пользу и привести вас на путь истинного служения интересам народа. У нас на заводе говорят, что вы были подкуплены хозяевами, но я этому не верю, потому что хозяева наши не дураки и не станут даром бросать денег, а кроме того, я знаю, что вы не взяточник и не вор, как другие ваши коллеги, которым нужны деньги на арфисток и шампанское с трюфелями. Скажу даже, что вы вообще честный человек...»

Губернатор бережно положил на стол письмо, торжественно снял с носа затуманившиеся очки, торже-

ственно и медленно протер их кончиком платка и с уважением и гордостью сказал:

– Благодарю, молодой человек.

Прошелся неторопливо по комнате и, обращаясь к холодной печке, веско добавил:

– Жизнь мою вы берите, она ваша, но моя честь...

Он не договорил и, закинув голову, несколько смешной в своей важности, вернулся к столу.

«...Скажу даже, что вы вообще честный человек – вообще честный человек – вообще честный человек – и сами не обидите и курицы, если вам не прикажут ее обидеть. Но как вы, честный человек, можете подчиняться таким приказаниям, вот в чем для меня вопрос. Милостивый государь! Народ не курица. Народ – дело святое, и если бы вы понимали, что такое народ с его страданиями, вы вышли бы на ту самую площадь, поклонились бы земно и попросили бы прощения. Вы подумайте только: из рода в род, из поколения в поколение, от тех самых первых рабов, которые строили пирамиды по прихоти тирана-царя, ведем мы свое существование, и как есть среди вас потомственные дворяне, то есть угнетатели, так среди нас есть потомственные рабочие, потомственные рабы. И вы подумайте, что во все эти тысячи лет нас только били и угнетали, и как бы далеко ни заглянул я в прошлое моих предков, я ничего не вижу там, кроме слез,

отчаяния и дикости. И все это ложилось на душу, и все это в сохранности, как единственный капитал, передавалось от отца к сыну, от матери к дочери, и вы разверните душу настоящего рабочего или мужика – ведь это же ужас! Еще не родившись, мы уже тысячекратно обижены, а когда мы вылезаем в жизнь, так сразу попадаем в какую-то нору и пьем обиду, и едим обиду, и одеваемся обидой. Вот рассказывают, что в третьем году вы пороли каких-то мужиков, понимаете ли вы, что вы сделали? Вы думаете, что вы только их зад оголили, а вы их тысячелетнюю душу рабскую оголили, вы и покойников, и будущих, еще не родившихся людей розгами хлестали. И хоть вы и генерал и превосходительство, а скажу вам грубо, недостойны губами приложиться к мужицкому заду, как к святыне, а не только что хлестать его розгами. А когда пришли к вам рабочие, вы думаете, это кто пришел? Это пришли рабы воскресшие, которые строили пирамиды, пришли со своими тысячелетними мозолями и слезами за любовью, за советом и помощью, как к образованному и гуманному человеку XX века, а вы как с ними поступили? Эх, вы! Подумать, так ваш дедушка был надсмотрщиком над этими рабами и хлестал их плеткой и вам передал эту глупую ненависть к рабочему классу. Милостивый государь! Народ просыпается! Пока он только еще во сне ворочается, а у ва-

шего дома подпорки уже трещат, а вы погодите, как он совсем проснется! Вам новы эти мои слова, подумайте над ними. А засим прошу прощения, что обеспокоил, и во имя «братства» желаю, чтобы вас не убили».

«Убьют!» – подумал губернатор, складывая письмо. Вспомнился на миг рабочий Егор с его сизыми завитками и утонул в чем-то бесформенном и огромном, как ночь. Мыслей не было, ни возражений, ни согласия. Он стоял у холодной печки – горела лампа на столе за зеленым матерчатым зонтиком – где-то далеко играла дочь Зизи на рояле – лаял губернаторшин мопс, которого, очевидно, дразнили – лампа горела. Лампа горела.

VII

Несколько следующих дней прошло без писем. Точно по уговору, письма прекратились сразу, и наступившее безмолвие было необычно и жутко. Во внезапности безмолвия не чувствовалось конца, что-то еще продолжалось там, в тишине – как будто в новую фазу вступила мысль и таинственно творила что-то. И быстро шли дни, как взмахи огромных крыльев: вверх взмахнет – день, вниз повеет – ночь.

Два раза в необычные часы был принят губернаторшей полицеймейстер Судак. В прихожей, подстав-

для руки швейцару, чтобы тот стащил с них пальто, он вполборота энергичным шепотом бранил его, как своего городского или извозчика. И, уже раздевшись и натягивая свежую перчатку, он наклонял прилизанную голову к пушистым бакам швейцара, скалил гнилые, прокопченные табаком зубы и в самый нос совал полуодетую перчаткою руку с болтающимися плоскими пальцами. То же, хотя в меньших размерах, проделал он с лакеем. Потом принял великосветский вид и поднялся по лестнице наверх. Раньше он ни в каком случае не осмелился бы бранить прислугу губернатора, но теперь выходило как-то так, что бранить можно, даже необходимо. Вчера у самого губернаторского подъезда вечером был арестован выслеженный агентами очень подозрительный человек: утром он издали провожал губернатора в его пешей прогулке, а потом весь день шатался у дома, заглядывал в нижние окна, прятался за деревьями и вообще вел себя крайне подозрительно. При аресте ни оружия, ни каких-либо подозрительных предметов и бумаг у него не нашли, и оказался он мещанином Ипатиковым, по профессии скорняком; но объяснения он давал запутанные и лживые, уверял, что только раз прошел мимо дома, и вообще, видимо, что-то скрывал. При обыске в мастерской ничего, кроме обыкновенных обрезков меха, начатого гимназического мехового паль-

то и других предметов мастерства, а также домашнего хозяйства, у него не нашли; ни оружия, ни бумаг – но случай оставался очень темным и неразъясненным. И никто из губернаторской прислуги – ни швейцар, ни другие – не заметили подозрительного субъекта, хотя он десятки раз прошел мимо парадного; а ночью один из агентов для опыта подергал дверь, и она оказалась незапертой, так что он походил по швейцарской, для доказательства сделал царапину на стене и незамеченный ушел. То, что дверь была не заперта, швейцар объяснил забывчивостью, но в такое время, когда все ждут преступления, подобное ротозейство было непростительно.

– Я в невозможном положении, ваше превосходительство, – жаловался губернаторше Судак, прижимая к надушенной груди белую перчатку. – От охраны их превосходительство решительно отказываются и даже не позволяют ни об чем говорить; агенты, извините за выражение, с ног сбились, ходивши за их превосходительством, и все без результатов, так как любой мерзавец из-за угла или даже через забор камнем может ушибить их превосходительство. В случае не дай бог чего скажут: полицеймейстер виноват, полицеймейстер не уследил, а что же я могу поделать против священной воли их превосходительства? Войдите в мое положение, ваше превосходительство, пря-

мо, извините за выражение, хоть в отставку подавать, ваше превосходительство.

Оказалось, что у Судака готов уже и план: пусть губернатор возьмет двух– или трехмесячный отпуск и уедет за границу на воды на предмет поправления здоровья; в городе все снаружи спокойно, к губернатору в Петербурге благоволят и никакой задержки не сделают.

– Иначе я ни за что не ручаюсь, ваше превосходительство, – с чувством закончил полицеймейстер. – Есть мера сил человеческих, ваше превосходительство, и со всей откровенностью говорю: иначе ни за что не ручаюсь. А пройдет два-три месяца, и все прекраснейшим манером позабудется, и тогда пожалуйста к нам, ваше превосходительство. К тому времени сюда и итальянская опера прибудет: мы будем слушать, а их превосходительство пусть себе гуляют на здоровье!

– Ну уж, какая это опера! – сказала губернаторша, но на предложение полицеймейстера согласилась, так как была очень обеспокоена.

Внизу полицеймейстер снова разнес швейцара, но на этот раз уже громко, не стесняясь:

– Я тебе покажу! Я тебе баки-то подрежу, жирная морда! Распустил баки, как тайный с-советник, сукин сын, и думает, что дверь можно не закрывать! Ты мне

попляшешь! Ты...

В тот же вечер Мария Петровна попросила мужа ехать с нею и детьми за границу.

– Я прошу тебя, Pierre, – говорила она томно и закрывала глаза большими коричневыми веками, и желтая напудренная кожа обвисала на щеках, как у легавой собаки. – Ты знаешь, как у меня плохи почки, и мне положительно необходим Карлсбад.

– Но разве ты не можешь поехать с детьми, без меня?

– Ах, нет, Pierre, что ты говоришь. Без тебя я буду так беспокоиться. Я прошу тебя.

Она не сказала, отчего будет беспокоиться, да и так понятно было. К ее удивлению, Петр Ильич охотно согласился на поездку, хотя для возражений и спора, помимо даже исключительности обстоятельств, достаточно было того, что просила его она. Так у них бывало.

«Это не будет трусость, нет, – думал губернатор. – Я не сам придумал эту поездку, и, может, ей действительно необходимо полечиться: желта она, как лимон. У них еще достаточно времени, чтобы меня убить, а если они ничего не сделают, то, значит, прав буду я, а не они. И тогда я выйду в отставку, и уеду совсем, и устрою хорошую оранжерею».

Но, думая так, он не верил ни в за границу, ни в

оранжерею – быть может, только поэтому он и согласился ехать. И, согласившись, тотчас же забыл об этом, как будто дело касалось кого-то другого, постороннего, непонятно медлил с написанием бумаги, назначал день, когда написать, и вспоминал о нем два дня спустя. И снова назначал, и снова настойчиво забывал. Успокоенная решением уехать, губернаторша вяло торопила его – она как-то запоздала в этот раз с своим осенним туалетом, и нужно было время, чтобы покончить с портнихами. Не была готова и Зизи.

В молчаливой пустоте, охватившей губернатора с внезапным прекращением писем, ему чувствовалось что-то неокончательное – словно намек на тихий голос, звучащий где-то вдалеке. Так чувствуется в пустой комнате, когда за стеною говорят и голосов не слышно. И когда получилось письмо – последнее запоздалое письмо, – он взял его, как будто только его и ждал, и только удивился тому, что было оно в нежно окрашенном узком конверте с изображением незабудки на обратной стороне. И пришло оно не днем, как другие, которые опускаются в ящик вечером или ночью, а с вечерней почтой, следовательно, было опущено несколько часов тому назад. Небольшой листок был также нежно окрашен, и наверху была голубая незабудка; почерк был четкий, старательный, но к обрезу строчки часто загибались вниз, как будто писав-

шая не совсем верила в свое умение правильно переносить слова и предпочитала дописывать их маленькими сползающими буквочками. Иногда, еще задолго до обреза, предвидя, что слова не упишутся, она уже начинала сгибать строчку, и похоже было на снежную горку, с которой гуськом катятся на санках дети, самые маленькие спереди. Подписано было: «Гимназистка».

«Вчера мне приснились ваши похороны, и я решила писать вам, хотя это нехорошо и оскорбляет тех несчастных рабочих и девочек, которых вы убили. Но вы тоже несчастный человек, достойный сожаления, и поэтому я пишу вам это письмо. Мне приснилось, что хоронили вас не в черном гробу, как стариков и вообще пожилых людей, а в белом, как хоронят девушек, и несли ваш гроб по Московской улице городовые, но не на руках, а на головах. И за гробом шли одни только городовые, а родственников ваших не было, и вообще не было никого из публики, так что даже окна и калитки, где вас проносили, были все закрыты ставнями, как ночью. Мне сделалось так страшно, что я проснулась и стала думать, о чем теперь и напишу вам. И я подумала: вероятно, у вас и вправду нет никого, кто мог бы о вас поплакать, когда вы умрете. Те люди, которые вас окружают, черствые эгоисты и думают только о себе, и когда вас убьют, то они будут, мне кажется, даже рады, потому что сами дума-

ют о месте губернатора. Вашей жены я не знаю, но не думаю, чтобы в этой среде, заеденной тщеславием и погоней за наслаждениями, могли встретиться чуткие и хорошие женщины. Из честных же людей вас никто провожать не пойдет, потому что все возмущень вашим поступком с рабочими, а от одного человека я даже слышала, что вас хотели исключить из клуба, но только боятся правительства. Панихиды же ничего не стоят, потому что наш архиерей, как вы сами знаете, готов отслужить панихиду и по собаке, только бы ему хорошо заплатили за это. И когда я подумала, что, вероятно, вы сами все это хорошо знаете и без моих слов, то мне сделалось страшно жаль вас, как будто бы я знала вас лично. Видела я вас только два раза: один раз очень давно, на Московской улице, а другой раз на нашем акте, когда вы приезжали с архиереем, но вы меня, конечно, не помните. И клянусь, что буду молиться о вас и буду плакать о вас, как будто я была ваша дочь, потому что мне очень, очень жаль вас.

P.S. Пожалуйста, сожгите это письмо. Мне очень жаль вас, очень».

Гимназисточку он полюбил. Поздно вечером, уже перед сном, он прошел через темную залу и вышел на балкон, тот самый, откуда он подал знак белым платком. Уже началось осеннее ненастье и слякоть, и ночь темнела густым осенним мраком; и в тяжести этого

мрака чувствовалось, как далеко солнце – как давно оно ушло и как еще не скоро вернется. Далеко налево, у подъезда, горели два яркие фонаря с рефлекторами; белый свет их вонзался во тьму, но не разгонял ее: тут же она и стояла, спокойная, густая, тяжелая. Город, вероятно, уже спал, так как, кроме редких фонарей на улицах, не видно было ни одного освещенного окна и езды не слышно было. Под одним фонарем смутно блестело что-то – вероятно, лужа. В гимназии давно учатся, и она, вероятно, уже приготовила уроки и спит – где-то в этом черном пространстве, полном безмолвия. Оттуда шлют ему письма и угрозы, оттуда придет к нему смерть... – но там есть девочка, которая спит и которая будет о нем плакать. Как спокойно, как темно – как тихо!

VIII

За две недели до смерти губернатора в губернаторский дом была доставлена посылка, обшитая полотном и оцененная в три рубля. Когда раскрыли ее, то оказалась она адской машиной – снарядом, начиненным порохом и устроенным так, чтобы взорваться при открытии. Но устроена она была плохо, неопытными руками какого-то любителя, только слыхавшего о существовании подобных вещей, и взорваться никаким

образом не могла. И в этой наивности снаряда было что-то тупо-жестокое и устрашающее: точно слепая смерть выпускала щупальцы и шарила ими в потемках. Полицеймейстер поднял тревогу, а губернаторша настояла, чтобы Петр Ильич в тот же день отправил заявление в Петербург о болезни, сама съездила к своей портнихе и, кроме того, от себя послала сыну французское письмо, полное ужасов.

И никто не заметил, когда это случилось, в тот же день, или немного раньше, или немного позже – с губернатором произошла странная и решительная перемена, давшая новый образ на месте знакомого и привычного человека. Все тот же он был, но стал он правдив лицом и игрою его, и от этого казалось, что лицо у него новое. Оно улыбалось там, где раньше было спокойно, хмурилось, где прежде улыбалось, было равнодушно и скучно, когда раньше выражало интерес и внимание. И так же страшно правдив стал в чувствах своих и их выражении: молчал, когда молчалось, уходил, когда хотелось уйти, спокойно отворачивался от собеседника, когда тот становился скучен. И те, кто много лет были спокойно уверены в его любви и расположении, знали все его чувства и настроения, вдруг почувствовали себя покинутыми, отброшенными куда-то в сторону и совершенно не знающими ни его чувств, ни настроений. Вдруг исчезли

куда-то все улыбки, поклоны, пожатия руки и ласковые взгляды, пропали все эти мимолетные вставки в речи: «Пожалуйста – голубчик – вы сделаете большое одолжение – дорогой», – все то, что составляло привычный и знакомый облик. – И люди были изумлены странной и даже страшной новизной явившегося. Так, вероятно, звери, привыкшие думать, что платье человека составляет самого человека, бывают поражены, увидев его голым.

Только вежливым перестал он быть, и сразу распалась связь, соединявшая его много лет с женою, детьми, окружающими, – как будто только улыбками и поклонами держалась она и исчезла вместе с поцелуями рук. Не осудил их, не возненавидел, даже чего-нибудь нового, отталкивающего в них не заметил, – они просто выпали из его души, как выпадают зубы изо рта, как вылезают волосы, как отпадает умершая кожа: безболезненно, нечувствительно, спокойно. Смертельно одинок он был, сбросивший покров вежливости и привычки, и даже не почувствовал этого – словно всегда, во все дни его долгой и разнообразной жизни одиночество было естественным, ненарушимым его состоянием, как сама жизнь.

Утром он забывал поздороваться, вечером – проститься, и когда жена подставляла свою руку, а дочь Зизи – свой гладкий лоб, он как-то не понимал, что

нужно делать с рукой и гладким лбом. Когда являлись к завтраку гости, вице-губернатор с женой или Козлов, то он не поднимался к ним навстречу, не делал обрадованного лица, а спокойно продолжал есть. И, кончив еду, не спрашивал у Марии Петровны позволения встать, а просто вставал и уходил.

– Куда же ты, Pierre? Побудь с нами, нам скучно. И сейчас же будет кофе.

Он спокойно отвечал:

– Нет, лучше я пойду к себе. А кофе не хочу.

И невежливость ответа исчезала в его искренности и простоте. Отказывался смотреть новые платья Зизи, не выходил к гостям, предоставляя губернаторше выдумывать предлоги, и совершенно перестал заниматься делами и отказывался, без объяснения причин, выслушивать доклады. Но просителей раз в неделю он принимал и внимательно выслушивал каждого, с интересом, несколько даже невежливым, оглядывая его с ног до головы.

– Вы уверены, что так будет лучше? – спрашивал он, выслушав.

И, получив удивленный, но утвердительный ответ, обещал просьбу исполнить. Вероятно, он не думал в это время о пределах своей власти или имел о ней преувеличенное представление, но часто разрешал дела ему неподведомственные; и впоследствии

новому губернатору пришлось долго возиться с создавшейся путаницей, тем более что много дел было непозволительно кляузного характера.

Вечерами, чтобы несколько рассеять дурное настроение мужа, Мария Петровна приходила к нему в кабинет, пробовала ему голову рукой, не горячая ли, и начинала говорить о загранице. Но он просто и невежливо удалял ее:

– Ну хорошо, ступай. Мне хочется побыть одному. У тебя же есть свои комнаты, и я к тебе не хожу.

– Как ты изменился, Pierre!

– Вздор, вздор! – говорил он своим гулким командующим басом и прижимался спиной к холодной, негреющей печке. – Пойди, пойди, да уйми своего мопса, только и слышно в доме, что его лай.

От прежних привычек у Петра Ильича остались только карты; играл он два раза в неделю в винт, по маленькой, и играл с видимым удовольствием, серьезно, деловито и, когда партнер ошибался, подвергал его громовому разносу.

– Вы о чем же, сударь, думаете? Ведь я же показывал вам буб-ны? – гулко грохотал он, выговаривая «бубны» так, точно ударял в бубен, и Мария Петровна из гостиной с улыбкой ловила слова мужа и с томной снисходительностью покачивала головой. Желтые щеки у нее обвисали, как у легавой собаки, сыпа-

лась пудра с лица, и коричневые, большие шарообразные веки спускались из-под лба, как железный ставень в магазине, и снова поднимались. И ей и другим казалось в этот миг невозможным, чтобы кто-нибудь решился убить человека, который так играет в карты.

И все две недели, до самой смерти, он ждал. Вероятно, были в его голове другие мысли – об обычном, о житейском, о прошлом, привычные старые мысли человека, у которого давно заострелись мышцы и мозг; вероятно, думал он о рабочих и о том печальном и страшном дне, – но все эти размышления, тусклые и неглубокие, проходили быстро и исчезали из сознания мгновенно, как легкая зыбь на реке, поднятая пробежавшим ветром. И снова и всегда спокойною, черною водою омота стояло бездонное, молчаливое ожидание. Казалось, что и с мыслями, как и с людьми, его соединяла только вежливость и привычки, и, когда привычка и вежливость отпали, исчезли куда-то мысли. И в голове своей он был так же одинок, как и в доме.

Он ждал. Как и всегда, он вставал в семь, обливался ледяной водой, пил молоко и в восемь уже выходил на обычную прогулку; и каждый раз, переступая порог своего дома, ожидал, что обратно его уже не перешагнет и двухчасовая прогулка превратится в бесконечное падение куда-то. Одетый в генераль-

ское пальто с красной подкладкой, высокий, широкоплечий, воинственный, несущий седую голову немного назад, он два часа величавым призраком кружился по городу – вдоль почерневших от дождя деревянных домишек, вдоль бесконечных заборов и пустырей, мимо магазинов и лавок с продрогшими, низко кланяющимися приказчиками. Светило ли подслеповатое октябрьское солнце, моросил ли настойчивый, тоскливый дождь, он неизменно появлялся на улицах – величавый и печальный призрак с размеренными и твердыми шагами, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы. Прямо по грязи и по лужам шагал он, блестя в них красной подкладкой расстегнутого пальто, прямо пересекал улицы, не замечая ни козырявших городских, ни экипажей и останавливая их движение; и если бы сверху проследить его ежедневный путь ожидания, то представился бы он причудливым сцеплением прямых и коротких линий, вонзающихся друг в друга, спутывающихся в колючий, болезненно изломанный клубок.

Он мало смотрел по сторонам и никогда не оглядывался назад; но едва ли впереди себя видел он что-нибудь, поглощенный бездонным черным ожиданием – много поклонов оставил он без ответа, и много испуганных глаз встретил и пропустил сквозь себя его скользкий, невидящий взор, прямой, как его шаги. И

когда он был уже убит и давно похоронен и новый губернатор, молодой, вежливый, окруженный казаками, быстро и весело носился по городу в коляске, — многие вспоминали этот двухнедельный странный призрачный зрелище, рожденный старым законом: седого человека в генеральском пальто, шагающего прямо по грязи, его закинутую голову и незрячий взор — и красную шелковую подкладку, остро блистающую в молчаливых лужах.

Многолюдие главных улиц с его назойливым любопытством его утомляло, и чаще углублялся он в грязные глухие переулки, с их трехконными домишками, заборами и узкими, деревянными, скользкими мостками вместо тротуаров. Было у него во все эти дни постоянное желание: заглянуть на Канатную и пройти всю, взад и вперед, с одного конца до другого, но осуществить его он так и не решился: казалось неловко и страшно, страшнее, чем смерть. И он смутно удивлялся, как это раньше, в сентябре, он так просто и безбоязненно ездил по этой улице и даже хотел кого-нибудь встретить, чтобы поклониться.

Но на одну улицу он заглядывал ежедневно и проходил ее неторопливо, и был похож на спокойно гуляющего старого генерала, добродушного и немного чудаковатого. Эта улица вела к женской гимназии, и по утрам, в девятом часу, по ней проходило много гимна-

зисток; и первый он почтительно и серьезно кланялся девочкам, самым маленьким из них, у которых были коротенькие по колена коричневые платица, тоненькие ножки и огромные ранцы, и они конфузливо отвечали. Его близорукие глаза не различали лиц, и все они, и у девочек и у взрослых, стройных девушек, казались ему одинаковыми розовыми лепестками в шапочках. Пропустив последнюю, он тихонько улыбался левым усом и смотрел хитро, а за поворотом снова превращался в мертвеца, церемониальным маршем ищущего могилы.

В первые дни, по тайному приказу полицеймейстера, за ним в некотором отдалении следовали два агента, которых он не замечал, так как не оглядывался назад. Вначале они добросовестно ходили за ним, подчиняясь всем его капризным движениям, но вскоре начали отставать: казалось, глупо ходить и смотреть в спину человека, который бестолково вертится в самых опасных местах. И то они останавливались у знакомых лиц, то болтали с городовыми, то на четверть часа забегали в трактир и, случалось, на целый час теряли губернатора из виду.

– Все равно ничего не поделаешь, – говорил, оправдываясь, один, похожий на консистерского чиновника, бритый, благообразный и в высшей степени трезвый. Он торопливо прожевывал горячий пирожок и, еще не

доев, левой рукой поднимал металлическую крышку с ящика, чтобы достать новый. – Если человек от старости из ума выжил и сам на рожон лезет, то что же с ним поделаешь, скажите, пожалуйста?

– Одна форма, – сказал буфетчик.

– А Судак? – спросил второй, усатый, мрачный, похожий на пропившегося помещика, но в действительности бывший мелкий шулер-неудачник.

Он мрачно, большими собачьими глотками, глотал колбасу, селедку, все, что попадало под руку, и казалось, ест медленно, но на самом деле поглощал быстро и много. И водку он пил так же, но никогда не бывал пьян, как не бывал и сыт.

– Ну что ж Судак? Сам понимает, что мы не ангелы с небеси.

– Это как лошадь на пожаре: ее тащат, а она упирается. Так и сгорит, а не пойдет, – сказал буфетчик.

– Не ангелы мы, – вздохнув, повторил первый.

Правда, они не были похожи на ангелов, эти два приниженные человека, и не их рукам было отстранить гору, падавшую на человека.

Возвращаясь домой и перешагивая порог, губернатор не ощущал радости и даже не думал, что вот еще на один день он остался жив; он принимал это без размышлений, как будто забыв даже значение своей прогулки, – и ждал следующего дня огромным, тем-

ным ожиданием. И пустые, бездеятельные дни проходили страшно быстро, но время не подвигалось вперед: словно испортился механизм, подающий новые дни, и вместо следующего дня подавал старый, все один и тот же. И календарь на письменном столе, который он всегда переворачивал сам, чаще с вечера, точно призывая следующий день, – замер неподвижно на каком-то из старых, давно минувших дней; и, взглядывая иногда на эту застывшую черную цифру и даже не догадываясь, в чем дело, он ощущал жжение в груди, что-то вроде легкой тошноты, и быстро отводил глаза.

– Вздор! – говорил он сердито; теперь, оставаясь один, он часто вслух произносил отрывочные слова, не связанные ни с какой определенной мыслью, и особенно часто повторял два слова: «вздор!» и «позорно!».

Смерти он не боялся и представлял ее себе только с внешней стороны: вот в него выстрелят, а он упадет; потом похороны, музыка, несут ордена, и это все. Встретить ее он хотел мужественно. Не думал он совсем и о том, будет за гробом какая-нибудь жизнь и суд или нет; для него все кончалось здесь. И ел он хорошо, с обычным аппетитом, и спал крепко, без сновидений. Но однажды ночью – это было за три дня до убийства – ему, вероятно, приснилось что-нибудь

очень тяжелое, и проснулся он от собственного глухого и хриплого стога. И, услышав этот свой необыкновенный и страшный голос, встретив перед глазами тьму, почувствовал смертельный ужас и истому. Укрылся одеялом с головой, сжался в узловатый комок, подтянув костлявые колени к лицу, и, точно в одно мгновение пройдя весь обратный путь от старости к детству, – заплакал тихо и горько и стал просить мокро, теплую, мягкую подушку:

– Пожалейте меня! Придите же ко мне кто-нибудь, придите. Пожалейте же меня! О-о-о!..

Но у него оставалось большое старое тело и гулкий грубый голос, и скоро сквозь слезы он почувствовал всего себя, всю свою странную позу, и смолк.

И долго лежал молча все в той же странной позе и широко открытыми глазами глядел в тьму под одеялом.

А наутро снова надел он генеральское пальто; и еще два дня мелькала, отражаясь в лужах, красная подкладка и крутился по улицам величавый призрак, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы.

Произошло это просто и быстро, точно картина передвинулась в панораме. На перекрестке, при выходе на маленькую грязную площадь, где по пятницам продавалось сено, – чей-то нерешительный голос окликнул губернатора:

– Ваше превосходительство?

– А?

Он остановился и повернул голову: к нему через дорогу, от глухого забора, расползаясь ногами в грязи, торопливо подходили два человека, один в высоких сапогах, другой в ботинках, без калош, но с подвернутыми брюками. Вероятно, ему было холодно от промоченных ног: лицо у него было зелено-бледное, и белокурые волосы точно отделялись от кожи. В левой руке он держал свернутый четырехугольник бумаги, а правую глубоко запустил в карман.

И сразу стало понятно все: ему – что пришла смерть, им – что он знает об этом.

– Извините! – сказал один, и лицо его быстро перевернулось.

– Прощение? О чем? – так же ненужно, но точно обязанный поддерживать игру, спросил губернатор. Но руки за бумагой не протянул.

А тот, все еще держа в левой руке никого не обманывающую бумагу и не отдавая ее губернатору, правой тасил запутавшийся в подкладке револьвер, морщась от усилий.

Губернатор быстро, искоса, огляделся: грязная пустыня площади, с втоптаннами в грязь соломинками сена, глухой забор. Все равно уже поздно. Он вздохнул коротким, но страшно глубоким вздохом и выпря-

мился – без страха, но и без вызова; но была в чем-то, быть может в тонких морщинах на большом, старчески мясистом носу, неуловимая, тихая и покорная мольба о пощаде и тоска. Но сам он не знал о ней, не увидели ее и люди. Убит он был тремя непрерывными выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий треск.

Минуты через три прибежал городской, за ним сыщики и народ – как будто все они где-то поблизости, за углом, ожидали конца. И труп закрыли. А еще через десять минут ехала уже лазаретная фура с красным крестом – и по всему городу стучали, как камни, перекрестные вопросы и ответы:

– Убит?

– Наповал.

– А кто? Поймали?

– Нет, убежали. Неизвестные какие-то. Трое.

И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни – порицая, другие – одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха: что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами, выступил в тумане грозный образ Закона Мстителя.

Гимназисточка плакала.

Август 1905 г.